



Лидія Чарська

# КОШМАР

---

*Последний  
роман знаменитой  
писательницы*

---

Лидия Чарская

**Кошмар**

Издательство «Зерна»

1917

## **Чарская Л. А.**

Кошмар / Л. А. Чарская — Издательство «Зерна», 1917

ISBN 978-5-907190-33-7

«Кошмар» – последний опубликованный роман Лидии Чарской. Он был опубликован только однажды – в журнале «Родина» в 1917 году, и даже многие большие поклонники творчества знаменитой писательницы не знают о существовании этого произведения. Эта книга – роман для взрослых, психологический триллер о любви, подвергшейся страшному испытанию. Первая мировая война. Нина Корсарова, молодая замужняя женщина, стала жертвой сексуального насилия со стороны немецкого офицера, а с фронта вскоре возвращается искалеченным ее муж. Она не знает, как рассказать ему все, как пережить этот кошмар и что делать с ребенком, которого она ждет от насильника...

ISBN 978-5-907190-33-7

© Чарская Л. А., 1917

© Издательство «Зерна», 1917

# Содержание

I	5
II	8
III	11
IV	14
VI	19
Конец ознакомительного фрагмента.	20

# Лидия Чарская

## Кошмар

### I

Двумя гигантскими скатертями раскинулись белые поля по обе стороны дороги. Осыпанные снежной пудрой деревья казались не живыми, а словно эффектными изображениями художественных открыток. Морозное небо глядело по-зимнему сурово и строго, и зимнюю сказку этих белых снежных равнин баловала лишь короткая радость слабых лучей декабрьского солнца.

Когда, пять часов тому назад, Нина Сергеевна Корсарова ехала в Красное Село показаться Илье и в ее душе еще жила смутная надежда, за окном вагона было еще совсем темно и редкие железнодорожные фонари тускло светили желтыми огнями на протяжении дороги. Молодая женщина была тогда одна в вагоне и чутко дремала весь путь. После долгих дней колючих сомнений сердце уже не сжималось острыми, мучительными судорогами, как прежде, а слабо вспыхивало при малейшем проблеске надежды.

И чем короче становился путь до дома Ильи, тем ярче раздувал кто-то неведомый этот слабый факел надежды.

«Все – пустое, только глупая простуда... Не может быть другого, не должно!.. Разве можно даже допустить эту мысль? Было бы слишком несправедливо со стороны госпожи Судьбы», – говорил внутренний голос в душе Нины Сергеевны.

И, когда показалась высокая, с вычурной резьбой крыша вокзала и кондуктор, громко хлопнув дверью, кратко бросил, проходя мимо ее отделения: «Красное Село! Изволите ехать до Красного Села, барыня?» – она встрепенулась так радостно, точно птица, только что выведшая птенцов.

Незнакомый вокзал, короткая вереница извозчиков, десятиминутный подъем на гору, где жил в своем лазарете Илья, и Корсарова позвонила у двери небольшого деревянного домика, на которой по медному полю доски значилось: «Илья Фёдорович Котулин. Доктор медицины».

Денщик открыл ей дверь и, сказав, что барин на утреннем обходе госпиталя, с удивлением оглядел с головы до ног нарядную, красивую барыню, – пожалуй, даже слишком нарядную и красивую для ее расстроенного лица и темной тревоги, глядевшей из мерклых, удлиненного разреза, глаз.

Нина отказалась от чая и, присев в серой казенной комнате, – комнате «безнадежного холостяка», как она шутя прозвала своего названного брата Илью Котулина, стала ждать.

Она не помнит сейчас точно, сколько прошло времени до тех пор, когда пред ней предстала маленькая сухощавая фигурка Ильи в военной докторской тужурке и она увидела его худощавое, нервное лицо с измененными глазами и короткой козлиной бородкой.

– Нина, голубушка! Какими судьбами? Вот неожиданно! – воскликнул Котулин. – Знаешь, когда этот дурачина Семён доложил, что меня ждет какая-то барыня, я меньше всего, признаться, думал о тебе. Ты ведь никогда еще не заглядывала в мою трущобу. И лицо твое не нравится мне нынче. Случилось что? Может быть, Николай? Что такое? Говори скорее, Нина!

По мере того как Котулин спрашивал с нарастающей тревогой и явными нотками волнения в голосе, сама Нина становилась все спокойнее и бодрее. Она знала этого нервного, легко аффектирующего Илью, врача по страсти и далеко не медика по призванию. Благодаря этой самой нервности и чрезмерной чуткости он бросил выгодную карьеру акушера и перешел на специальность внутренних болезней вообще и желудочных в частности.

Она улыбнулась Илье несколько вымученной улыбкой и произнесла почему-то шепотом, хотя в комнате, кроме них двоих, не было никого:

– Послушай, Илюша, меня забросило к тебе одно очень серьезное обстоятельство.

– Разумеется, серьезное! Иначе разве я смел бы надеяться, что моя блестящая сестрица заедет ко мне в эту скучную холостую трущобу?

– Перестань, Илья! – резко оборвала его шутивную речь молодая женщина. – Я не могу сейчас смеяться. Мне слишком мучительно-тяжело.

– Но что же случилось, Ниночка? – спросил Котулин высоким, далеко не мужественным голосом, в котором снова зазвенели нотки сочувствия и тревоги.

– Вот что, Илья! Забудь на время, что мы росли вместе, что мой отец воспитывал тебя, как родного сына, забудь, словом, все, за что ты почему-то считаешь себя обязанным и покойному папе, и всем нам. Я приехала к тебе как к врачу, Илья, как к врачу-акушеру, в авторитет которого я абсолютно верю и на скромное молчание которого, что бы ни случилось, я надеюсь больше, чем на самую себя. Ты должен освидетельствовать меня и чистосердечно сказать все, что найдешь у меня, как бы это тяжело для меня ни было. Понимаешь?

– Но ты всегда была на редкость здоровой женщиной в этом отношении, и меня всегда порядком удивляло то, что у тебя с Николаем – такой на диво здоровой, свежей пары – нет детей...

Нина Сергеевна сделала нетерпеливое движение.

– Ты можешь внимательно освидетельствовать меня, Илья?

Ее настойчивый тон сам по себе уже говорил о чем-то значительном и важном.

– Но, голубушка, ты же знаешь, что я не практикую в качестве акушера уже пять лет, и весьма возможно, что я отстал за это время. Наука с поразительной быстротой делает свои шаги вперед именно в этой отрасли медицины – гинекологии. А впрочем. – заторопился Котулин, заметив ее нетерпеливый жест, и спешно вышел из гостиной.

Нина, оставшись одна, чувствовала, как ее пронизывает нервная дрожь.

– Все готово, входи! – услышала она пятью минутами позднее, и Котулин, уже в белом халате, распахнул перед ней двери в кабинет.

Нина, быстро поднявшись с места, направилась туда.

Они оба были очень бледны – и маленький, худощавый доктор, и высокая, стройная, с удлинненными египетскими глазами, женщина, когда он уже много позже, не глядя на нее, произнес, барабанив по столу трясущимися пальцами:

– Ты совершенно здорова, Нина. Я не понимаю твоего беспокойства... Все идет вполне нормально, своим прямым путем.

– Так значит? – длинные египетские глаза раскрылись шире, и из их меркнувшей глубиныглянуло на доктора такое отчаяние, что невольная дрожь волнения пробежала по телу этого нервного человека. – Так значит?

– Ты находишься в первом периоде беременности, Нина. Два месяца с небольшим. Что с тобой? Тебе худо, голубушка? Семён, воды!.. О Господи!..

«Нет, нет! У меня хватит силы, чтобы не упасть, не лишиться сознания. Пустое отчаяние и безнадежность... худшее еще там, впереди. Для того худшего я должна подготовиться», – мысленно старалась ободрить себя Корсарова и, сделав невероятное усилие, подняла свои отяжелевшие веки.

Маленький доктор возился около нее, подавая ее воду, расстегивая лиф. Запахло крепким, острым запахом эфирно-валериановых капель. За дверью осторожно застучали тяжелые шаги удаляющегося денщика, и в то же время трепетный, взволнованный шепот Ильи задрожал у самого ее уха:

– Нина, голубушка, не надо же так отчаиваться... право же, не надо. Послушай, ведь не все еще потеряно. Есть средства избавиться, если ты не хочешь. Голубушка, бедняжка моя!

Ведь это все, в сущности, так жизненно, так понятно. Ниночка, послушай!.. Я – друг твой, я – твой старший названный брат... Я никогда не забуду, как твой отец подобрал меня, нищего сироту, и сделал человеком. Послушай, Нина! Для тебя, ради него, ради вас обоих я пойду на все... до нарушения профессиональной этики включительно. Милая, успокойся, мы все устроим, все устраним. Николай ничего не узнает, и вы будете счастливы... по-прежнему безмятежно счастливы. Ты еще так молода, ты – женщина, в конце концов, обаятельная, прекрасная женщина. И мне больше, чем кому-либо другому, понятен... этот несчастный случай с тобою, это несчастье. Я уверен, что это продукт временного увлечения, – кошмар, забвение, власть тела над духом, власть темной силы.

Котулин хотел добавить еще что-то и не договорил.

Как ужаленная, вскочила Нина Сергеевна с кушетки, на которой все еще сидела, словно пришибленная, после того как он освидетельствовал ее, и зашептала с расширившимися от ужаса и гнева зрачками:

– Сатана!.. Ты – сатана, Илья, если смеешь «это» предполагать, если можешь так думать. Я люблю Николая. Понимаешь? Его, его одного. Всю жизнь, всю молодость мою я люблю его и только его! Понял? И ни духом, ни телом я не виновата пред ним – ни духом, ни телом!

Вслед за тем она выбежала, как безумная, за дверь и, трясясь, как от озноба, старалась попасть руками в рукава шубки. Она быстро нахлобучила на голову меховую шапочку, машинально натянула ботинки в крохотной передней, не слушая того, что говорил ей маленький, сильно встревоженный Котулин. Он, кажется, извинялся, утешал, от чего-то отговаривал.

Нина смутно помнила остальное – ту же невзрачную фигуру Ильи на крыльце его особняка, его голос, кричавший ей что-то вдогонку, когда ожидавший ее извозчик отстегивал полость и она садилась в сани. Потом голос Ильи замер, сани быстро заскользили под гору, и Нина замерла, как неживая, глядя на снежные поля.

## II

С ближайшим же поездом Нина Сергеевна поехала обратно в Петроград. В вагонное окно смотрели белая сказка зимних полей и морозное небо с его скупым декабрьским солнцем. В том отделении, где заняла место Нина, какая-то старушка в бесчисленных теплых платках и лисьей ротонде бесконечно копошилась над свертком, шурша бумагой. У самого окна напротив два пожилых офицера в отставке громко спорили о войне. Их резкие голоса мешали сосредоточиться Нине и болезненным эхом отзывались в мозгу.

Сжав зубы, она направилась в соседнее купе неверной, пошатывающейся походкой. Слава Богу, наконец-то она одна в полумраке надвигающихся ранних сумерек декабрьского дня.

Теперь ей можно было дать полную волю отчаянию, можно, судорожно сжав мускулы, вполне отдаться тому мрачному, серому валу отчаяния, что захлестывал ее с головой.

Илья сказал: беременна. Об ошибке здесь не может быть и речи. Илья, прежде всего, – доктор, авторитет. Ошибка в данном случае недопустима. Значит, конец? Конец молодости, радости, счастья с Николаем? О, если бы это был его ребенок, их ребенок! Они оба шесть лет мечтали о нем. Нет, судьбе угодно было сыграть с ней, Ниной, жестокую, непоправимую шутку. От нежно и страстно любимого Николая не было детей, а «тот», другой, чудовище в образе человека, одарил ее ребенком... О, будь он проклят беспечно до последних своих дней! Или послушаться Илью – принять его совет и одним смелым, преступным шагом покончить с «этим» продуктом несчастья, свалившимся на нее?

Нет, никогда она, Нина, не пойдет на это, никогда не совершит чудовищного греха.

– Ни за что! – почти вслух глухо вскрикнула молодая женщина. – Избавиться от «него», убить в себе зарождающуюся жизнь? Ни за что!

Она сжала своими длинными, тонкими пальцами виски, явно ощущая под пальцами бие-ние пульса. Ее сердце колотилось и металось в груди, как раненый зверь, запертый в клетку. Тупым, немигающим взглядом, полным беспросветного отчаяния, смотрела она на мелькающие мимо телеграфные столбы. А память выводила полные мрака и ужаса картины...

В знойное июльское утро минувшим летом она прощалась с Николаем на Варшавском вокзале. Было суетливо и хлопотно вокруг. Сестры в белых косынках, санитары, старший врач отряда и молодые доктора. И среди них милая богатырская фигура и свежее, здоровое лицо, мужественное и мягкое в одно и то же время. Нине казалось тогда, в то утро, что никогда в жизни она не любила еще Николая, как сейчас, любила какой-то тихой влюбленностью и нежной, безмерной жалостью. Она боялась даже думать о тех опасностях, которым, уезжая со своим отрядом Красного Креста, подвергался Николай. В эти прощальные минуты ей хотелось бесконечно смотреть на мужа и слушать его, вглядываться в его открытое лицо с крупными мужественными чертами, казавшимися, может быть, несколько грубоватыми, если бы не большие сияющие темные глаза, унаследованные им от матери-гречанки, всегда немного грустные и постоянно нежные, когда они смотрели на нее.

Они и простились, глядя так – глаза в глаза один другому – и впиваясь судорожными пальцами в пальцы друг друга.

Нина смутно помнит, как ее, рыдающую, Илья привез в дом ее матери.

То было четыре месяца тому назад, через месяц после похорон отца. Семья носила траур, и в отцовском доме еще господствовало угнетающее настроение недавних похорон. Мать – пришибленная, безгласная, вся подавленная своим горем – безучастно встретила чужую печаль, так как слишком сильно было ее собственное горе. Сестра Лида, занятая своими курсами, пожалела Нину как будто только приличия ради. Пожалел по-настоящему, по-хорошему только один Илья. И ему она, Нина, многое простила тогда за это: и его пессимизм, и желчность, и кажущуюся сухость с нею.

Потянулись один за другим тоскливые, монотонные дни. Частые панихиды, неизбежные поездки на кладбище, праздничные наезды Ильи из Красного Села, запаздывавшие письма Николая с фронта...

Нине казалось, что она с ума сойдет, если еще продлится неделю-другую подобная жизнь. Если бы Николай разрешил ей, она с восторгом поступила бы на курсы сестер милосердия или же просто напросилась бы к Илье помогать ему в его госпитале. Но муж считал ее, Нину, почему-то недостаточно сильной для такого рода деятельности и убедил ее «не рисковать собой». А между тем ее молодая, кипучая натура требовала деятельности. Теперь она металась между работой в столовой, устроенной для жен и детей запасных, и продажей значков в пользу защитников родины, ходила по всевозможным заседаниям, устраивала лотереи, работала в Зимнем дворце и, не будучи «настоящей» сестрой, ездила в устроенный курсами госпиталь, где читала газеты раненым, писала им письма на родину, поила их чаем. И все же это было не то, все это казалось для Нины слишком мелким, ничтожным. Душа жаждала иного, работы более ответственной и продуктивной.

И вдруг письмо от Катиш.

Оно явилось каким-то светящимся метеором, озарившим тусклую сейчас жизнь.

Катиш, маленькая безобразная горбунья с детскими, чистыми глазами, заставлявшими сразу забывать все безобразие ее лица, была подругой Нины с первых гимназических лет. Изящная, оригинальная уже с самого раннего детства красота Нины Дарцевой пленила восторженную душу маленькой эстетки Катиш, и эта маленькая горбунья отдала красавице-подруге все свое чувство, надломленное сердце. Девочки стали закадычными друзьями. С течением времени их дружба окрепла. Они обе были удивительно тождественны во взглядах, убеждениях и вкусах, обе мечтали работать на пользу человечества, трудиться не покладая рук в больницах, в школах, все равно где.

Когда в доме Дарцевых появился новый товарищ Ильи – студент медицинской академии Николай Александрович Корсаров – и Нина вскоре почувствовала в своем юном сердечке «пробуждение весны», причиной которого являлся Николай с его некрасивым, но мужественным лицом и задумчивыми глазами, она призналась в своем чувстве первой Катиш.

Они обе плакали тогда, обнявшись, точно пред разлукой. Нина кляла себя за «измену» будущему делу во имя личного чувства. Катиш, мечтавшая пройти свой жизненный путь вместе с подругой, оплакивала ее, как мертвую.

– Я была глупа, безумно глупа, – шептала она тогда, в тоске сжимая свои хрупкие пальчики, – что вообразила тебя, такую красавицу, в роли докторши или школьной учительницы. Да и с натурой твоей, Нинка, я вовсе не считалась... Где только глаза были у меня?! Вон у тебя губы какие! А когда ты мерцаешь своими египетскими глазами сфинкса, то мне кажется, что оживает сама древняя богиня сладострастия.

– Перестань, Катиш, я рассержусь! – смущенно краснея, возражала она тогда подруге.

В тот же год Катиш поступила в институт медичек, а Нина вышла замуж за Николая Корсарова, сходявшего с ума по этой стройной, высокой девушке с узким, бархатным взором, таящим загадку, с обаятельной улыбкой несколько чувственных, алых, как пурпур, губ.

И вот письмо от Катиш с далекой окраины. Она, узнав, что Николай со своим отрядом уже давно на передовых позициях, звала Нину погостить у нее и рассветиться, познакомиться с бытом литовского крестьянина, с порядками земского дела в их Западном крае.

«Все заняты войною, – написала Катиш, – и окунулись в ее нужды и удовлетворение ее требований, там, у вас в Петрограде. Но ты не можешь себе представить, каким дружным пульсом бьет жизнь у нас, в деревне. Несмотря на географическую близость к нашим немирным соседям, здесь совершенно спокойны по этому поводу и не допускают даже мысли о возможности тевтонского вторжения в наш тихий уголок. И если бы ты, в отсутствие Николая Александровича, пожелала поскутать на лоне деревенской жизни здешнего края...»

Да, она, Нина, разумеется, пожелала. Разлука с любимым человеком давила ее тяжелым томлением, а в доме царила такая тоска, что она быстро собралась и уехала к Катиш, в ее тихую деревню.

### III

Нина Сергеевна не забудет этого ада до самой смерти, и за гранями иного мира будет помнить об ужасе случившегося, если там дано что-либо помнить и вспоминать.

И сейчас, сидя в вагоне на обратном пути в Петроград, она в тысячный раз переживала совершившееся.

Осенний вечер был тих и прозрачен, алая заря улыбалась с неба. В этот день впервые сильные заморозки дали знать о близкой зиме.

Нина невольно размечталась в этот предзакатный сентябрьский час, когда воздух охватывает здоровым деревенским опьянением. Он, как вкусное вино, сам впивался в горло. Пахло давно уже сбитыми с деревьев плодами.

«Вот славно было бы, если бы Николай внезапно очутился здесь! – раздумывала Нина. – Вместе проводили бы вечернюю зарю, стоя обнявшись на крошечном балконе, вместе встретили бы и черную южную ночь!»

Постепенно вспыхнула, загорелась и потухла верхушка костела, четырехконечный крест странным, причудливо-мистическим знаменем заиграл в последних солнечных лучах. Село раскинулось, словно на картине Клодта<sup>1</sup>, уютное и большое. А там, за ним, тайлся и молчал о чем-то темный, как призрак, безмолвный, угрюмый лес.

Внезапно перед Ниной выросла маленькая фигурка горбуны Катиш.

– Так рано? Но почему так рано, Катиш? – спросила Корсарова, кинув рассеянный, далекий взгляд в лицо горбуны, и замерла сама, преисполненная тревоги.

Серо-землистое лицо Катиш говорило без слов о чем-то ужасном. Зрачки разлились во всю ширину глаз, и в них были тот же ужас и страх.

– Что такое? В чем дело, Катиш? – повторила Нина.

Но прошло немало времени, пока маленькая горбуня обрела дар слова.

– Они идут, Нина... понимаешь, идут сюда. Этого никто не ожидал. Ведь мы же в сторону от дороги, совсем в глуши. Что же им понадобилось? Стратегические планы? О, будь они прокляты с этой своей стратегией! Я чувствую себя ужасно, признаю себя преступницей за то, что вызвала тебя сюда. Но кто же знал, кто же знал это, что они доберутся и сюда... до нашего селения?

И горбуня в тоске заломила свои маленькие ручки.

Нина Сергеевна побледнела. Неужели они, эти послушные питомцы железного канцлера, эти каменные люди, придут сюда? Она беспомощным взглядом окинула знакомую обстановку – темный силуэт леса, под горою село с костелом, здание больницы и школы, крошечную русскую церковку.

Село было большое, скорее – полугород или посад, а потому в нем обычно царили шум и движение. Но здесь, в конце его, подальше от шинка<sup>2</sup> Янкеля, куда наезжали кутить из города молодые купчики, поляки, русские и молодые инженеры, здесь, у Катиш, в ее маленьком домике, обычно была удивительная тишина. И она, Нина Корсарова, в этот месяц пребывания здесь привыкла к сельской тишине, к тихому шелесту леса, к хрустальному бегу речки, к алым вечерним закатам, когда золотой, о четырех концах, крест костела пламенем горит в море разлитого пурпура заходящего солнца. Здесь ей сладко мечталось о спокойном счастье с Николаем, о конце войны и близком его возвращении.

И вдруг – «они», немцы! Прямо-таки не хотелось верить этому.

Но горбуня уже торопила ее:

---

<sup>1</sup> М. К. Клодт – популярный во второй половине XIX века русский художник-пейзажист.

<sup>2</sup> Шинок – небольшое питейное заведение в дореволюционной России, кабак.

– Милая, тебе нельзя оставаться здесь дольше.

И голос ее, всегда спокойный и ровный, дрожал.

– Ну, да, конечно... Как и тебе самой, и Зосе, и всем нам, – согласилась Нина Сергеевна.

– Ну, да, конечно. Как и тебе, и шинкарке, дочери Янкеля. Она прибежала сейчас ко мне в больницу... Знаешь Розу? Ты ее еще Саломеей прозвала. Плачет, руки ломает. Отец не хочет уезжать отсюда. Не верит старик, что опасность близка, или просто доверяет этим зверям-немцам больше, чем они того заслуживают. Но факт тот, что он не двинется от своего шинка ни на сажень. А Роза боится и хочет бежать.

– Да, да, конечно. И она, и ты, и Зося! – промолвила Нина.

Зося была хорошенькая литовка, помощница Катиш, исполнявшая обязанности сиделки в больнице.

– О, что касается меня, то я тоже не уйду отсюда! – твердо возразила горбунья. – Я, как старый Янкель, останусь здесь, на своем посту, не брошу на произвол судьбы своих больных, Нина. Там есть двое тяжелых с тифом и один с рожистым воспалением. И амбулаторных тоже нельзя оставить без помощи.

Голос горбунии звучал уверенными нотками, а глаза делались суровыми, когда она говорила это.

– Но фельдшер, Катиш, фельдшер, – попыталась убедить подругу Нина Сергеевна.

– Фельдшер? Так ты хочешь, чтобы они остались без врача? На одного фельдшера, что ли? – с тем же суровым блеском в глазах отчеканивала горбунья.

– Ну, тогда и я не сделаю без тебя ни шагу, – решительно вырвалось у Нины. – Если грозит опасность тебе, не могу же и я бежать позорно, оставить тебя одну на произвол судьбы.

– Какая опасность?

– А женщины и девушки Бельгии?<sup>3</sup> А наши калишские?<sup>4</sup> Или ты забыла эту позорную для подлых немцев страницу?

– Нет, не забыла, Нина, и во имя этой страницы требую, чтобы ты бежала с остальными женщинами и девушками местечка, бежала немедленно. Слышишь? – энергично заявила горбунья.

– А ты?

– Глупый ребенок... Смотри! – резко, почти грубо схватив подругу за руку, Катиш насильно втокнула ее в свою крошечную гостиную, где на стене висело небольшое зеркало. – Гляди на себя, а потом на меня, безумная девчонка!

Машинальным взглядом охватила Нина два женских отражения на гладкой поверхности стекла – два женских лица, удивительных каждое в своем роде: и старообразное птичье личико горбунии с его выгнутым клювом-носом и огромным ртом, с этой хронически закинутой головою калеки и серым, землистым цветом лица, и ее собственное лицо, прелестное лицо молодой и цветущей женщины с неправильным, чуть вздернутым носом и кроваво-алым, чувственным ртом, так странно дисгармонирующим с таинственными, глубокими, мерцающими глазами сфинкса, из-за которых и все, в сущности, неправильное и заурядное лицо свежей, здоровой и темноволосой самки приобрело какой-то таинственный, полный прелести и загадки отпечаток.

Казалось, Нина Сергеевна впервые взглядом постороннего наблюдателя и оценщика оглядела сейчас свое собственное отражение.

– Ну, что? – задыхающимся от ненависти к еще невидимым, но уже глубоко ненавистным врагам, заговорила горбунья. – Скажешь, что на такую красавицу не разгорятся зубы у этих

---

<sup>3</sup> Речь о зверствах немецкой армии в Бельгии во время Первой мировой войны: сексуальные домогательства, изнасилования, использование женщин в качестве живого щита. (Прим. ред.)

<sup>4</sup> В начале Первой мировой войны немцы учинили расправу над мирным населением российского города Калиш. (Прим. ред.)

мерзавцев? Нет уж, Нинушка, сделай милость, убирайся как можно скорее отсюда, сними с души грех. Слышишь, Нинка? Какими глазами я стану смотреть на Николая Александровича, если, не дай Бог, случится что-нибудь с тобой?

– Хорошо, хорошо... успокойся! Я уеду...

– И Зося возьми, и Розу Янкелеву. Да что я говорю: «возьми»? Вся молодежь уедет, наверное, нынче же. Останутся только старики да вот такие уроды, как я, воронья пугала, – добавила Катиш с усмешкой, впервые в жизни как будто благодаря судьбу за это свое уродство.

Решено было бежать с наступлением сумерек. Но алый закат давно догорел и погас на вечернем небе, и холодная ночь опустила на землю свои бесшумные, тяжелые, черные крылья, а в селе все еще суетились, толкались и шумели, готовясь к побегу.

Бежали не одни только женщины, бежали и мужчины, не желая работать на «проклятых пруссаков», как говорили все эти здоровые, рослые литовцы, грузившие телеги домашним скарбом и выводившие отчаянно мычавший и бляевший скот из закут.

По настоянию Катиш Нина Сергеевна и смуглая, черноокая шинкарка Роза, действительно напоминавшая древнюю Саломею своим трагическим стальным лицом, и пухленькая, белокурая, миловидная Зося, с ее детски-испуганным личиком и ошалевшими от страха глазами, – все три переоделись в платье литовских крестьянок, чтоб ничем не отличаться от прочих беженок-простолюдинок.

Холодная ночь уже дышала в разгоряченные от волнения лица, когда вся толпа двинулась к лесу. Заскрипели колеса телег, засвистели в воздухе удары плетей. Заржали лошади, бляели в темноте испуганные овцы, мычали коровы. Плакали испуганные дети, разбуженные всей этой сумятицей, криками и суматохой.

Екатерина Иосифовна Стадницкая вместе со старухой, сельской учительницей, проводила их до околицы. И долго махали потом белыми шарфами, метавшимися причудливыми птицами в надвигавшемся сумраке ночи.

## IV

Черный лес приютил наконец беспорядочную толпу беженцев. Под его гостеприимным навесом скрылись и люди, и животные. Крепкий, как вино, осенний воздух, насыщенный первым брожением тления, приятно бодрил затуманенные тревогой головы. Беженцы медленно подвигались в темноте. Детский плач умолк – убаюканные дети спали в телегах у груди матерей.

Только изредка чье-то всхлипывание да тяжелые, надорванные вздохи нарушали тишину. Говорили с жалобной покорностью о покинутом гнезде, разоренном хозяйстве, об участии мужа или отца, оставшихся там, в покинутом селе. А впереди, казалось, уже ждало что-то зловещее, неведомое, притаившееся, как хищный зверь, в непроницаемой темноте леса, что-то страшное, большое, мертвенное, чему не было ни имени, ни представления, ни образа, но что медленно и кошмарно рождалось в тишине.

И вот неожиданно яркий сноп прожектора осветил лес. Послышалось короткое и зловещее: «Halt!»<sup>5</sup>

В ту же минуту показалась группа немецких всадников – очевидно, разведчиков – в затянутых чехлами касках. Молодой, упитанный, краснощекий кавалерийский офицер первый врезался в толпу беженцев, крича что-то по-немецки и размахивая саблей.

Обезумевшие от неожиданности и испуга женщины заголосили. Снова запищали разбуженные дети. Кто-то из крестьян, воспользовавшись суматохой, метнулся было в кусты. Но тотчас же грянул выстрел – и беглец упал замертво в лесную канавку.

А сноп прожектора, похожий на взгляд сказочного дракона, все нащупывал, все искал в густоте лесных зарослей.

– Обыскать хорошенько этих мерзавцев! Отобрать от них запасы и погнать обратно в село. Безмозглые ослы!.. Свиньи, чего они испугались? Надо иметь дело с дикарями, а не с просвещенной германской армией, чтобы так по-идиотски задавать стрекача при первых признаках ее появления, – кричал хриплым голосом офицер, соединяя немецкие, русские и польские слова воедино. Вслед за тем, обращаясь к дубоватому вахмистру, все время неотлучно следовавшему на своей лошади за его конем, он добавил после короткой паузы по-немецки: – Да... вот еще, Франц Крагер, распорядитесь, чтобы молодых женщин и девушек отделили от прочей сволочи. Да торопитесь, старина! Надо скорее порадовать его светлость донесением о славном деле поимки беженцев со всем их скарбом, припасами и бабьем.

Нина Корсарова и Роза, единственные из всей этой толпы, поняли слова этого немецкого офицера. Обе они инстинктивно рванулись одна к другой. На бледном, прекрасном лице шинкарки Розы, до странности воплотившем в себе черты библейской Рахили, пробежала судорога страха.

– О пани, – в ужасе прошептала девушка, – о пани, что будет с нами теперь?

Миловидная, пухленькая Зося истерически вскрикнула, когда грубый немец, унтер-офицер, схватил ее за руку, и заголосила, трясаясь всем телом.

Этот крик, казалось, послужил началом к дальнейшему. Женщины зарыдали в голос, выкрикивая, как кликуши; пронзительным плачем залились дети.

Немецкий офицер негромко скомандовал что-то, и в одну минуту вся партия беглецов была окружена всадниками.

Нина, схватившись за руку Розы холодной, как лед, рукой, подалась назад пред грудью наседавшей на нее лошади. Плачущая Зося очутилась возле них и, горячо дыша в шею Корсаровой, зашептала ей на ухо:

---

<sup>5</sup> Стой! (нем.).

– Пани, голубушка, золотенькая, пригожая!.. Пани, бежим в чащу! Может, успеем... может, удастся. Бежим – вы, я и Роза!

– А прожектор? Или ты забыла? Этот нагонит всюду, – со страдальчески вскинутыми бровями ответила еврейка.

Свет прожектора действительно, как сказочный сыщик, рыскал по всем закоулкам леса, превращая в какую-то волшебную феерию кусты и деревья, канавки и рвы. И в его голубовато-опаловом сиянии зловещего ночного солнца одна часть спешившихся всадников с сосредоточенными хмурыми и жадными лицами производила обыск партии, а другая продолжала напирать верхом на скучившихся, растерявшихся от страха женщин. Офицер при помощи молоденького юнкера сам направлял снопы света.

Вот чудовищно-яркие лучи прожектора упали в ту часть лесной поляны, где, прижимаясь к стволу облысевшей по-зимнему липы, стояли три бледные женщины.

– Ба, черт возьми, какой приятный сюрприз! Смотрите, Кноринг, картина, достойная кисти величайшего художника. Три грации!.. И откуда у этих грязных литвинок может встретиться такая красота? – произнес он, вскидывая в глаз стеклышко моногля.

Юный Кноринг, упитанный и свежий, как хорошо откормленный йоркширский боров, давно уже заметил трех сбившихся в тесную группу женщин и только не решался первым в присутствии своего ближайшего начальника заговорить о них.

Теперь он заржал от удовольствия, оттопыривая лоснящиеся щеки, и затараторил на отвратительном баварском наречии:

– Но ведь, бог мой, это находка, господин лейтенант. Воображаю, как будет доволен его светлость! Первое выступление нашего высокопоставленного покровителя отличается таким колоссальным успехом. Нет, положительно в вашу голову пришла гениальнейшая мысль, господин лейтенант, отпроситься у его светлости в эту ночную экскурсию. Одних поросят и кур сколько отберут к завтрашнему обеду наши люди!

И юнкер заржал снова, хотя ржать не было никакой причины.

– Не отберут, а реквизируют. Я попросил бы вас выражаться точнее, милейший Кноринг, – деланной строгостью произнес лейтенант и вдруг, не выдержав тона, разразился сам коротким, бессмысленным, самодовольным смехом. – Ну, да, кур, поросят, не говоря уже о больших двуногих свиньях и об этих красотках, что трясутся там в уголке, окруженные нашими доблестными солдатами. Взгляните вон на ту, Кноринг... налево!

– Но она – еврейка, а я имею с пеленок какое-то предубеждение против этой нации, – как-то брезгливо оттопыривая нижнюю губу, отозвался Кноринг.

– Я не говорю о еврейке, милейший, хотя и еврейка хороша, как древняя Ревекка. Но та, что обняла толстушку. Где вы видели такие глаза и такой рот, Кноринг? Сто дьяволов, это сфинкс! Я убежден, к тому же, что это не простая литвинка.

– Вы правы, девчонка удивительно мила.

– Настолько мила, что ее и эту евреечку мы доставим нынче же в качестве первого триумфального подарка его светлости.

– А... а... толстушку вы оставите для себя, господин лейтенант Фиш? – заикаясь и противно причмокивая, осведомился Кноринг.

– Я подарю ее вам, Кноринг. Вы заслужили это, мой мальчик, – с величественным жестом произнес офицер.

Юнкер снова заржал от удовольствия.

Вслед за тем они оба направились к женщинам.

– Вы говорите по-немецки? – услышала Нина Корсарова специально ей заданный вопрос, в то время как наглые, по-рачьи выпученные, точно вследствие базедовой болезни, глаза офицера разглядывали до мельчайших подробностей всю ее фигуру, делая явную и наглую оценку.

Щеки Нины вспыхнули румянцем негодования.

– Как вы смеете? – неосторожно сорвалось с ее губ по-немецки.

И в тот же миг она поняла, что сделала непоправимую ошибку.

Рачьи глаза немецкого офицера выразили торжествующую радость, в то время как на бледном, без кровинки, лице Розы отпечатался смертельный ужас.

– Что сделала пани! Пани погубила и себя, и нас! – прошептала она белыми, как мел, губами.

Увы, было уже слишком поздно что-либо исправить, вернуть. Рачьи глаза приблизились к лицу Корсаровой, и из противных, пахнувших коньяком и сигарою, мясистых губ вырвалось самодовольно:

– Так вы еще и шпионка, переодетая в крестьянское платье русская шпионка! Это не подлежит никакому сомнению и уже значительно облегчает нашу задачу.

Вслед за тем уже совершенно новым тоном, придав бесстрастное, деревянное выражение своему толстому лицу заурядного бюргера в адъютантском мундире, лейтенант Фишскомандовал ближайшей группе солдат:

– Взять этих троих и доставить в ставку его светлости! Если вздумают бежать – пулю в лоб! Остальных отправить обратно! Запасы отобрать и сделать немедленно точнейшую ревизию населения села!

## V

Маленькая, похожая на пеструю коробку, комната, сплошь завешанная коврами и тряпьем, очевидно, снесенным сюда из разграбленных соседних фольварков<sup>6</sup>, освещенная электрическим фонарем, повешенным посередине, со столом, совсем некстати приткнутым у одной стены и сплошь заваленным планами, с картами, развешанными поверх ковров, производила странное впечатление.

Когда немецкий лейтенант ввел сюда Нину Сергеевну, грубо оторвав от ее плеча рыдавшую Зосю, Корсаровой казалось, что она спит и видит эту странную комнату во сне, что стоит только сделать усилие над собой и она откроет глаза, проснется. Но глаза ее были открыты, а явственный, уже чересчур реальный сон не исчезал. Смутное, болезненное предчувствие неотступно сверлило мозг. Пред мысленным взором стояло трагическое лицо Розы, неподвижно застывшее, как маска, с той минуты, когда их привели на «пост его светлости», как торжественно и высокопарно выразился офицер.

– О пани, это наша гибель! Клянусь Богом Авраама, Исаака и Иакова, нас всех ждет гибель впереди! – шепнула Роза совершенно бледными губами и с трагического цвета – белой, как известь, – маской вместо лица.

Потом Розу повели куда-то вместе с Зосей, а толстый, как упитанный боров, лейтенант привел Нину Сергеевну в эту пеструю, завешанную цветным тряпьем, коробку.

– Я более нежели уверен, – произнес он на этот раз по-польски, – что вы – переодетая аристократка, и не сомневаюсь ни на секунду, что маскарад затеян вами не иначе, как в целях шпионажа.

Нина, мало понимавшая польский язык, вскинула на него недоумевающий взор.

Тогда лейтенант, криво усмехнувшись, добавил по-немецки:

– А впрочем, теперь это меня уже не касается. Его светлость самолично разберет, в чем дело. У его светлости прекрасное чутье на этот счет, – и после короткой паузы добавил с циничным смехом: – И не менее прекрасный вкус, должен сознаться. Надеюсь, это-то вы поняли, моя красотка?

---

<sup>6</sup> Фольварк – хутор, небольшая усадьба.

Подлая уловка офицера удалась как нельзя лучше. Нина Сергеевна вздрогнула, и легкий румянец негодования окрасил ее белые, как бумага, щеки.

– Ага, – уже совершенно не сдерживаясь, загоготал немец, – десяток чертей! Не был ли я прав? Ну, разумеется, мы знаем язык не хуже прирожденной немки. И под этим невзрачным нарядом мужички течет если не голубая кровь, то... во всяком случае... – тут он внезапно сделался серьезным, оборвав себя на полуфразе. – Черт побери меня, Юлия Фиша, если я ошибаюсь. Вы – русская шпионка, и это вне всяких сомнений, мадам.

Шаги за дверью заставили немца внезапно буквально окаменеть у двери.

Он заглянул в щелочку и поманил проходящего солдата.

– Тсс! Тсс! Сюда. Кто там? Вы, Шмерц? Войдите и станьте на караул. До самого прихода его светлости не спускайте глаз с этой женщины. Понимаете? За нее вы отвечаете собственной головой. Если же шпионка вздумает дать тягу – можете не церемониться. Надеюсь, вы хорошо меня поняли?

– Слушаю-с, господин лейтенант, все будет исполнено, – ответила окаменевшая в тот же миг у двери фигура в форме немецкого кавалериста.

Лейтенант скрылся, бросив в сторону Нины Сергеевны еще один многообещающий, полный отвратительного значения взгляд.

Теперь она осталась наедине с солдатом. Измученная до последней степени, с притупленными нервами, находясь в том состоянии, когда уже самый отчаянный страх пережит и в душе остались одно тупое, усталое равнодушие и покорная неизбежность, Нина вяло представляла себе ближайшее будущее, подстерегающее ее. Личность «его светлости» вырисовывалась пред нею не иначе, как бравым, чисто немецким солдафоном, какими кажутся все германские военные – принцы и унтеры, генералы и рядовые, без особенных, слишком ярких черт различия между собой. Представлялась красная, упитанная, лоснящаяся от самодовольства и жира физиономия со специфически вздернутыми иглами вильгельмовских усов и неизбежным глупейшим моноклем в бессмысленно округлившемся и наглom глазу. О том, что последует за предстоящим свиданием, Нина старалась не думать, пытаясь отделаться от подсказываемых ей ее воображением картин.

Хотелось упасть на эту жесткую койку, зарыться головой в походную подушку в шелковой наволочке и так замереть, замереть навеки.

Вдруг она вздрогнула. Ясно послышались шаги и звон шпор за дверью халупы. Встрепнулся и насторожился у порога солдат.

С широко раскрытыми глазами и мертвенно-бледным лицом Нина повернулась к двери.

Нежный, хрупкий и белокурый, с надменно приподнятыми бровями и породистым носом с горбинкой, вошел, скорее, стремительно вбежал в горницу юноша лет 23–24. Затянутый в блестящий мундир одного из лучших полков кайзера, со знаками отличия на груди, он тем не менее очень мало походил на солдата, бойца, воина со своим точеным, породистым лицом настоящего принца и небольшой, изящной, немного женственной фигурой. Только надменно приподнятые брови, говорящие о власти, и холодные, странные, словно прозрачные, из голубого стекла или темного аквамарина глаза придавали что-то отталкивающее, жуткое, этой своеобразной, совершенно не мужской красоте. Полное отсутствие растительности на лице делало вошедшего незнакомца похожим на молодого актера.

Довольно было взглянуть на юношу, чтобы сразу определить его общественное положение.

Изысканным поклоном приветствовал он Нину Сергеевну, причем его «стеклянные» глаза незаметно ощупали ее одежду бедной литвинки.

– Мадемуазель, – произнес он по-французски, сделав незаметное движение рукой в сторону солдата, после чего тот сразу же исчез, точно сквозь землю провалился, – мадемуазель, мой адъютант передал мне, что мои люди нашли шпионку и привели ко мне. Но я не хочу

этому верить. С такою гордой, полной достоинства внешностью, как ваша, я не хочу., и не могу предположить, поверить...

– И не верьте, ради Бога, не верьте, ваша светлость! – непроизвольно вырвалось у Нины, и она рванулась к нему с протянутыми, как за помощью, руками.

О, кто же, как не он, этот изящный юноша с изысканными манерами, с безупречным французским произношением, выручит ее из беды? Откуда он, этот «выродок», среди грубых пруссаков с их лоснящимися от пива, насквозь пропитанными сигарным дымом физиономиями? В этом белокуром юноше ей почудилась ее надежда, ее спасение.

Принц улыбнулся, но как-то странно – одними губами, в то время как жесткий, колючий взгляд его странных глаз продолжал с убийственным, холодным любопытством разглядывать молодую женщину.

Новый красивый жест маленькой, почти по-женски красивой руки со стороны «его светлости», и Нина опустилась в складное кресло.

Теперь «его светлость» стоял близко от нее, настолько близко, что она чувствовала тяжеловатый и пряный запах мускуса, тонкой, одуряющей струей исходящий от его одежды.

Два больших аквамарина в оправе золотистых ресниц смотрели на нее теперь не отрываясь, безучастно и холодно по-прежнему, в то время как мягкий, вкрадчивый голос говорил с подкупающей искренностью слова утешения, внезапно перейдя на свой родной немецкий язык:

– О, не беспокойтесь, прелестная фрейлейн, тут, по-видимому, кроется какое-то недоразумение! Вас тотчас же освободят. Этот добрейший Фиш, конечно, перестарался. Уж эта горячая молодость! Как будто в нынешнюю кампанию мало случаев отличиться и без подобных дел!.. Да... конечно, вас отпустят тотчас же, прелестная фрейлейн. Хотя не скрою, мне было бы приятно, если бы вы не отказались выпить со мною бокал шампанского и скушать что-нибудь. Со мною здесь старый Михель, удивительный кулинар. Что? Нет? Вы отказываетесь? Не хотите? О, какая досада! Но ведь немножко вина можно? Это же подкрепит вас для дальнейшего пути. Ведь вас никто не посмеет задержать здесь, я распоряжусь дать пропуск.

– Благодарю вас, – холодно сказала Нина.

– Ни слова благодарности. Вы прекрасны, и ваша благодарность заключается уже в том, что вы разрешите боевому, огрубевшему во время этой военной страды солдату полюбоваться немного вашими бесподобными глазами и выпить с ним один-другой стаканчик вина.

Разве могла отказать своему спасителю Нина? Он был так предупредителен, этот маленький изящный офицер с не по летам высоким чином и еще более важным положением. Он показался ей рыцарем, посланным для ее спасения, и, перестав даже смущаться его неприятных, как бы ощупывающих глаз, она слепо доверилась ему.

## VI

О, как устала она, Нина!

Все предыдущие волнения – побег, наступление немецкого отряда, уличение ее в шпионстве – все это как-то сразу обрушилось на нее. И немудрено, что первый выпитый бокал ударил ей в голову и обвешанная пестрыми коврами комната заходила, завертелась, заплясала у нее на глазах. Бессильно лежала запрокинутая голова на спинке походного кресла. Острее, явственнее доносился теперь запах мускуса, перемешавшийся с запахом дорогого вина, внесенного сюда, по приказанию «его светлости», дежурным капралом.

Неслышно приблизились и удалились шаги. И опять заискрились, весело запрыгали смеющиеся искорки янтарной влаги в граненой стопке. При свете электрического фонаря она играла, как драгоценный алмаз.

– Выпейте еще, это вас подкрепит. Мое бедное дитя, как вы устали! – произнес принц. Какой чарующе-ласковый голос!

Нежная, маленькая рука легла на темную голову Нины поверх безобразного ситцевого платка.

Ей, как ребенку, хотелось прижаться горячее, пылающей щекой к этой руке, пожаловаться и заплакать по-детски.

Но усталость преодолела этот порыв, голова бессильно свесилась на грудь, мысли замутились, и Нина заснула.

И в тот же миг дикий крик ужаса замер на губах Нины.

Маленькие, дрожащие руки сильными, горячими пальцами стискивали ее плечи, а чужое противное дыхание, с запахом мускуса, сигар и шампанского, вливалось ей прямо в рот. Что-то несвязное лепетал между поцелуями чужой голос – несвязное, отвратительное, бредовое.

Все последние силы Нины унесли вечерние переживания. Она поняла это сразу, бессильная для какой бы то ни было борьбы, для какого бы то ни было протеста, и пошла камнем ко дну отвратительного, скользкого, зловонного болота.

\* \* \*

Жуткий кошмар не рассеялся и под утро, когда внезапно в лес нагрянули русские казачьи разъезды, и ставка «его светлости» должна была впопыхах сняться и в беспорядке отступить в противоположную от селения сторону.

В тот же день, чуть живая, Нина была доставлена казаками в дом горбуны и замертво положена на кровать Катиш.

Там ее нашла хозяйка – пылающую в сорокаградусном жару, в забытии и бреду – и перенесла при помощи занявших село казаков в больницу.

Нина Сергеевна проболела три недели. И все эти три недели маленькая горбунья не отходила от нее. Молодой организм взял свое благодаря отличному уходу, и Нина стала поправляться.

Она ни словом не обмолвилась о случившемся с Катиш. Ей хотелось забыть свой невольный позор и горе, хотелось думать о нем, как о гадком сне, о кошмаре. Слишком сильны были еще соки жизни, бродившие в молодом теле Нины, слишком громко звала жажда жить и любить, чтобы могло пересилить ее черное отчаяние. И, по мере того как возвращалось здоровье и крепились силы, вливалась бодрящею радостью в душу и надежда на полное забвение.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.